

Этот вопрос, конечно, исключительно философский. Бабушкиными руками чуть свет тебя будят сразу все тридцать три несчастья, или одно несчастье нализывает на свою ниточку ещё тридцать два, чтобы напрочь изгадить тебе целый день? Но как бы ревнители мудрости ни истолковывали мир, дело состоит в том, что судьба или гнусный ком случайностей выбирают жертву именно тогда, когда сон её особенно сладок.

Позавчера я проводил маму домой клятвами — помогать бабушке Мане. Но, во-первых, чем не поклянёшься ради долгожданной недели в Новосветловке, а во-вторых, о подъёме в полпятого утра в соглашении сторон не было ни слова. А ведь если ты норовишь досмотреть сон среди улицы с дырявым ведёрком руке — это всегда не к добру. Особенно летом, особенно в Новосветловке, где каждый день — отдельная счастливая жизнь. И их осталось — как пальцев на руке.

Запивая раннюю корку домашнего кислого хлеба молоком, я чувствовал: день пропал.

И сокрушался, что вчера вечером сам развязал клубок несчастий. Мы с бабушкой, сидя на лавочке, рассуждали о советских победах в космосе и её отсталом рае. И тут она:

— Пиду, бо зранку трэба йты по кызякы. Та и ты, космонавт, обмыйся й лягай. Тэпла вода на груби.

Конским навозом сломать игру воображения, пленённого невероятным будущим человечества? Недопустимо. Невозможно. Я был ошеломлён и ринулся его спасать:

— Бабушка, я соберу, соберу кызякы, только давай посидим ещё!

И вот она, безжалостная расплата за благородство! Со старым ведёрком в руке я в раннюю рань собираю по улице сельский цемент — конские катыши.

Каждый год летом все прорехи в домах заделывались смесью из глины, соломы и кызяков. Совхозная конюшня скудела под натиском техники, конский помёт становился дефицитом. Поэтому его собирали после первого трудового скрипа телег, по живому следу, свеженьким.

Я везуче притащил домой с полведёрка и теперь рассеянно слонялся по двору. Пацаны ещё спали, шнырнуть было некуда. На речку одному — нельзя. Тоже честно обещал маме — без ребят

не ходить. Лениво погулил с голубями. Сунулся в мастерскую дяди Андрея. Ничто не мешало любоваться диковинными инструментами, которыми его руки превращали мёртвое дерево в прочные табуреты, резные тумбочки для всего села. Инструменты расположились по стенам, как птицы, — у каждого своё гнездо. Провёл рубанком по доске, лежавшей на верстаке, ковырнул её стамеской с овальной кромкой. Настроения не прибавилось.

Я уже не пенял злосчастной судьбе. Представив, как бабушка Маня, сгорбленная, с больными ногами, с неизменной одышкой, тяжело передвигается по улице, готов был прямо сейчас бежать хоть на конюшню в другой конец села. Но всё равно день начинался как-то не так, и его нужно было вернуть в привычное течение. Разве вот покорчить рожи петуху?

Старый петух с индейским опереньем царствовал над половиной двора. Он демонстрировал готовность атаковать всякого, кто приближался к его гарему. Даже в бабушке, кормившей кур, он, кажется, подозревал коварного властолюбивого заговорщика. Она и в самом деле ещё год назад грозилась отправить его на плаху, но, напыщенный и злобный, он продолжал единовластно править куриным народом. Наши поединки обычно заканчивались бескровно. Царь нарезал косые, обозначая запретные для чужака владенья, а я дразнил его, то наступая, то отступая с презрительными ужимками.

И тут случилось непредвиденное. Не успел я нарушить границу его владений и занять позицию, как петух без церемониальных угроз яростно наскочил на меня. Всполошённые куры пыхнули по сторонам, оглашая двор воплями. А мирный полуслепой Туз, по старости уже почти потерявший и голос, подло рывкнул за спиной. Растирая оцарапанную руку, я позорно драпанул с поля битвы за тын, в сад.

Постыдное и сокрушительное поражение свалилось так внезапно, что мне даже не пришла в голову мысль о возмездии. Может быть, я не вполне был уверен, что новая вооружённая вылазка закончится удачнее предыдущей, а может быть, сад, наливающийся спелостью, показался мне куда занимательнее победоносной битвы.

Друг так захотелось вкусить сладчайшей, медо-вейшей гливы! В саду у дяди Андрея, бабушкиного сына, построившего дом по соседству, были ещё те диковинки. Одна яблоня-дичка, развесившая ветки с мичуринскими грушами, чего стоила. Как же я завидовал осенним поедателям этих плодов! Спелыми есть их мне не доводилось, а посмаковать зелёные двоюродная сестра Валька не позволяла. Только прицелишься глазом—она тут как тут. Ехидненько лыбится, а на лбу написано: «Запрещено!»

Упавшие сочные гливы собирать позволялось. Если успеешь за конкурентами. А за теми, что сиренево усыпали ветки, Валька следила строго. Может, и в тетрадку записывала, сколько их. Но как устоять против соблазнов раннего утра, когда тебя никто не видит и ты только что испытал позор поражения? Оно соблазняло: давай, спешу сделать то, что позже уже сделать будет нельзя. Ага! Едва я собрался хорошенько обтереть о штаны этот мёд в кожуре, как меня пригвоздил Валькин голос: — И не стыдно? А-а-а, вор. А я-то думаю, кто это гливы тягает, пока все спят!

Я оправдывался: ранними утрами и я сплю, а это бабушка подняла меня за кизяками. Валька оставалась непреклонной: я вор. Да, самые спелые гливы, запланированные нами в скорое лакомство, действительно загадочно исчезали. Подозревался Сашка, Валькин старший брат. Он возвращался домой позже всех, и только у него был фонарик, квадратный, с батареейкой и лампочкой. Но сейчас, пойманный на месте преступления, суровую тяжесть расплаты за все преступления нёс я.

И пятился с этого поля боя, виновато опустил голову. Мучительный стыд жёг щёки, а сердце пылало праведным гневом на неправую жизнь. Уже никто и ничто не восстановит мою неосторожно потерянную честь. Вор! Вор! Вор!

В поисках отчаянного забвения я попёрся в кукурузу, чтобы навсегда пропасть в её диких и печальных зарослях. Кукурузный лес начинался сразу за садом и тянулся до самой дамбы, земляной насыпи, спасавшей огорода от весенних половодий разгулявшегося Луганчика.

Брёл, натываясь босыми ногами на грубые камни и расталкивая плечами двухметровые стволы. И только у бахи, тут и там пестревшей крупно-головыми маками, уселся на тыкву. Это было моё любимое место—мир, со всех сторон ограждённый чащей от чуждого вторжения. Усевшись на тыкву, я принялся рассеянно бросать огородные комья скипевшейся земли, разбивая их о такие же комья, пока увлекательное занятие не затянуло меня в размышления о горестной судьбе всех нас, кукурузных изгнанников, преследуемых роковыми обстоятельствами. Они утешили уязвлённое сердце, и я поймал себя на мысли, что продолжаю наш с бабушкой космический спор.

Может, и несвоевременно рассказывать о нём и о том чудесном сне, прерванном кизяками, только ж разве есть у нас другое время?

Бабушка по неграмотности ставила вместо под-писи крестик. Когда-то была совхозной ударницей, зарабатывая трудодни и копеечный стаж, родила шестерых детей. Деда Сашу я не знал, он умер до моего рождения, и только большой жёлтый фотопортрет на стене свидетельствовал о его завершённом бытии.

С бабушкой мы никогда не ссорились—она вообще не умела сердиться. Она жила в каком-то внутреннем умиротворении, частью которого являлся мир внешний. И всё же по некоторым вопросам мироустройства мы кардинально расходились во взглядах. Настолько, что тётя Галя, её старшая дочь, заставая нас за вечерними разговорами с заботливо принесённым кувшином молока, удивлённо восклицала: «Ты дывы, шо старэ, шо малэ!»

Космическая эра уже бороздила околоземные пространства и души будущих космонавтов, грезивших о межпланетных полётах. В мире уже не оставалось места для бабушкиного бога и её предстаний о рае. Вот я и пытался развеять её иллюзии, опираясь на неопровержимые факты и твёрдые школьные знания.

— Наши космонавты скоро полетят на Луну,— говорил я, убеждённый в непреложности данного факта.

— А шо им там потрибно? Ходыты догоры ногамы? Воны ж попадают,— непросвещённо сомневалась бабушка.

Я вносил терминологическое уточнение: — Земля—это вот не только земля, по которой мы ходим. Земля—это планета, на которой мы живём. Она круглая, огромный такой шар. Мы же не падаем в космос. Потому что есть сила такая, она нас на Земле держит. И на Луне тоже.

— Шо то за сыла? Робыть на зэмли трэба. И то така сыла! Прытыгае зэмля, аж спына гнэться. Покры зовсим нэ засыплють зэмляю.

Я был снисходителен, объясняя, что Луна находится в космосе. Она такая же, как Земля, только поменьше. Потому как спутник Земли. Там нет людей и кислорода. Но люди должны освоить её, потому что будет коммунизм, когда всё человечество сосредоточится на межзвёздных путешествиях. Меня одновременно возмущала бабушкина отсталость от повсеместного прогресса, мучила жалость к ней: она своими глазами не увидит наступающего торжества человеческого разума,— и тревожила горечью: нам никогда не понять друг друга.

Вчера я попросил её рассказать о рае. Это, пожалуй, единственное, что притягивало юного школьника в бабушкином мироустройстве. Мы же живём для чего-то? Не может же наша жизнь

заканчиваться простым исчезновением? Как же мириться с бессмысленной неотвратимостью смерти? Наверное же, есть где-то место для рая? Вопросы обволакивали щемящей тоской.

— Бабушка, а когда люди умирают, от них совсем-совсем ничего не остаётся?

— Та душа, кажут, нэ вмирае. Живэ у рау. Кто нэ

бачыв воли на зэмлі, той, кажут, там волю мае.

— А какой он, рай?

— Всэ такэ ж, як на зэмлі людына бачить. Тилькы всэ ээлэнэ, всэ свитытсья, у кожний рослыни начэ сонэчко живэ, свитло божэ. Колы люды пэрэходять мэжу, видкрываецься тэ свитло и наповнюе кожну душу, шо прыйшла у рай. Вона у тили вже нэ ховаецься, як зараз, душа—то и е божэ свитло, и зэмля ту душу нэ прытыгае. Хто и шо воно—всэ выдно.

— А что же они делают?

— Кожный живэ по воли, а воля у кожного—божа, правэдна.

— И работают?

— Бэз роботы тэж нэ можна. Тилькы досхочу.

— Как это досхочу?

— Покры хочэш, покы й робыш.

— А если не работать?

— А навицо? Колы вси у полэ выйшли, роблять, писни спивають—чи дома сыднты? Туды ж нэ бэруть паганных, хто на зэмлі був падлюкою. А хто нэ встыг на землі зробыты добрэ дило, там зробыть. —И мальчишки с девчонками там учатся, не дразнятся, не ссорятся?

— Можэ, й бувае грих, та нэ быються, бо кожен свое щастя мае сэрад усих.

— Так что, люди там и космические корабли строят?

— Можэ, й так, та тильки людська душа сама тягнётся до бэзмэжного свитла божого. Тым и живэ.

— А бог—он что, управляет всеми?

— Та ни, вни дае волю, и йому вична радисть—дывытсья, як люды у щасты живуть...

Видимо, что-то живо задел в душе советского школьника простодушный бабушкин рай. В момент кизяковой побудки я очарованно вглядывался в лица смеющихся людей, освещённых золотистым сиянием мира. Оно исходило из каждого стебелька изумрудного поля, из воды, из неба, играя лёгкой светотенью.

— Серёжка, а ты чога тут сыдыш? Ходимо у двир,—бабушкин голос вернул меня в огород.

Она грузно, устало возвращалась с его дальнего угла. Я взял её олунок с картошкой и молча поплёлся рядом. Солнце уже дышало стойким жаром.

Во дворе капризничала кривляка и задавака Наташка, моя двоюродная сестра. Она на целый месяц приехала с Дальнего Востока, где служил дядя Коля, младший сын бабушки. Вчера Наташка весь день ныла из-за больного зуба, и за время моего кукурузного отшельничества его удалили в районной больнице. Наташка решительно

подошла ко мне, молча толкнула и продемонстрировала своё утраченное сокровище, завернутое в носовой платок.

С задавакой наши отношения постоянно искрили. Может быть, потому, что она каждый день являлась в новом платье. Их у неё было, может быть, штук сто, а то и все двести. Это возмущало меня до глубины души. Нормальные дети в селе бегают в трусах или, в крайнем случае, в сатиновых штанах, сшитых специально на лето. Закати до колен и носись на здоровье. Босиком. А она—езде в платье и сандалиях. Ей, конечно, завидовали все девчонки, а вот мальчишки—те спуску не давали.

А может быть, мы вздорили из-за того, что я невольно был в неё влюблён. Красивая она, зараза! Платья не делали её куклой, а, наоборот, подчёркивали пацанский характер.

Наташка налетала на меня всякий раз, когда я называл бабушку Маней.

— Какая она тебе Маня? Она Марина! А ты дурак, дурак, дурак!

У принцессы в новых платьях и сандалиях не могло быть бабушки Мани—только Марина. А у меня—никакой Марины. Откуда эта выдра с Дальнего Востока может знать, как на самом деле зовут мою бабушку? Ей бы только покривляться. А я точно знал, что мягкую, страдающую от болей в ногах и спине, с тяжёлой одышкой, бабушку зовут Маня.

Я стойко держался своего, и когда она нападала на меня с кулачками, уворачивался и твердил: —Бабушка—Маня, а ты сама не знаешь. Потому что ты нездешняя,—бросал я самый веский аргумент.

Наташка бесилась, обзывалась и улетала, помахивая подолами.

Сейчас она повсюду преследовала меня, корчила рожи, рычала и совала свой зуб. Возможно, если бы я пожалел её или восхитился этим зубом, она бы была добрее. Но у меня дома хранился свой. Чтобы вырос новый, нужно тайком от всех спрятать его понадёжнее. А она, глупая, его тыкает. Жалко её, конечно, но жалеть капризную принцессу—ни за что!

От греха подальше я смотался на речку. Пацаны, Витёк и Санька, марлей ловили щучек. Им нужен был загонщик. Я залез в воду и принялась из зарослей выгонять рыбу. Дело пошло на лад—наш невод вытащил здоровенную, в две ладони, щучку. Она была гораздо крупнее тех двух, что ещё подпрыгивали в траве на берегу. Санька сунул её мне: —Держи!

С удачей в руке я ринулся развивать успех. И рыбёшка выскользнула.

В азарте охоты Санька тут же обвинил меня в злостном саботаже, назвав месторождением моих рук то, откуда растут как раз ноги.

— Давай загоняй! — всё ещё сердясь, но как бы уже прощая, буркнул он.

А мне уже перехотелось. Кизяки, петух, Валькин приговор, Наташка, щучка...

В скорби и смятении я побрёл домой по едва заметной среди дремучих пойменных зарослей тропке.

И тут в ногу что-то вонзилось. Я подскочил от неожиданности, а со следа прыгнула огромная лягушка. Ко всем бедам ещё и укус лягушки! Может быть, смертельный. Поскуливая и прихрамывая, я поскакал что есть сил к бабушке. Чем ближе к дому, тем трагичнее казалось положение. А вдруг умру, едва успею залететь во двор? Я представил скорбь на лице злочки Наташки, когда она увидит меня умирающим. Может быть, ещё успею прошептать, что прощаю ей все обиды. И на Вальку взгляну. Молча. А бабушка? Как она заполошится! Пошлют за тётей Галей, за дядьками. Врачи разведут руками.

От сцены трагического прощания, от горя, оставленного родным, я вздумал жалеть себя. И как ни торопился, а, нырнув в подвернувшийся лозняк, с минуту орошал его слезами горького горемыки.

Господи, а как же мама? Она же ничего не знает!

Я выскочил из кукурузы и завопил:

— Бабушка Маня, ой, бабушка, меня мирон укусил!
Бабушка опешила.

— Да шоб йому повылазыло, старому дурню! Як жэ вин тэбэ вкусыв, вин тилькы шо заходыв — до магазыну йшов. Як цэ вин?

— Да мирон в траве сидел!

Бабушка совсем растерялась. Зачем деду Мирону забираться под лист и кусать ребёнка?

— От же ж дурэнь старый! — недоуменно подтвердила диагноз бабушка.

— Да он не старый, он большой, зелёный, с полосками!

У нас снова возникла терминологическая нестыковка.

И тут Наташка:

— Ба, его лягушка укусила! Ой, лягу-ушечка его укусила! Бедненький, несчастненький!

Все пацаны знают: мироны — это огромные ядовитые лягушки. Они могут запросто напасть, если их нечаянно потревожить. Мне ещё повезло, что он был один. А пацанам не раз приходилось отбиваться от целых полчищ! Они рассказывали.

И всё же пришлось втолковать бабушке, что укусил не дед Мирон, а коварная лягушица, поджидавшая несчастную жертву на дикой тропе.

В глазах бабушки сверкнул лучик:

— Так то той мырон. У мэнэ есть мазь така лечебна, от мыронив.

Она не спеша помыла мне ногу и достала из сундука со всякой всячиной какую-то мазь. Тщательно смазала место смертельного укуса.

Боль быстро стихла. Теперь я знал, что буду жить, но попросил:

— Бабушка, а намажь ещё раз.

— Навищо? Ты краще пиды у погриб и попый молочка. Холоднэ молочко ликуе вид хворобы, вид укусив отых мыронив. Визьмы вэльку кружку, видрижь хлиба. Смэрть прыходэ за голодными, а колы йистымэш, вона видступыть.

Хромая, я потрусил на летнюю кухню, схватил кружку и бегом в погреб.

Оставалось только прихватить кусок бабушкиного кислого хлеба, который она пекла в русской печи, которую называла груба, и, спасённому от неминуемого, отправиться куда глаза глядят.

Они глядели за речку, где я никогда ещё не был. На нашей стороне знакомо было всё, каждая тропинка. А на том берегу Луганчика — неведомый мир. Как же я до сих пор не догадался его изведать?

Я перешёл речку по узкой деревянной кладке, выбрался из зарослей лозы. И — одурел.

Среди светлого изумруда трав сновали бабочки и стрекозы. Запахи сливались в какой-то невообразимый настой, густой и ароматный. Хрустальный ручей ослепительно сверкал скользкими солнечными змейками. Мама рассказывала, что мутный Луганчик до войны был чист и прозрачен. Но, наверное, в нём никогда не было гранённо-прозрачной воды. И во всём этом затерянном мире — сияние. Свет шёл из стеблей и листьев, исходил от стрекоз и букашек. Не столько солнечный, сколько внутренний, всего лишь разбуженный солнцем. Золотистое сияние размывало очертания предметов, они сливались с бесконечным светом какой-то иной жизни. Сначала я ошеломлённо осматривал открытую жизнь, боясь неосторожно испугать её или что-то в ней боясь пропустить. Потом воображение построило домик у озера, прямо на старой, в десяток обхватов, вербе. Он был с лесенкой, лёгкой и гибкой, как лоза.

Может быть, это и есть бабушкин рай? Может, она ничего не придумала и здесь остаются те, кто уходит? Я лёг на траву. И уснул.

Домой вернулся в сумерках. Меня обыскались. Все мальчишки были подняты на ноги, соседи собирались идти искать пропажу в ночь.

Когда я появился, Наташка выбежала, обняла меня и заплакала.

Дядя Коля махнул рукой:

— Вот ваша пропажа!

Потом, когда приехала мама, слегка досталось.

Я больше не ходил за речку. Может быть, потому, чтобы не испугать тайну, приоткрывшуюся, может быть, в самый несчастный день моего детства.

Через несколько лет заречного мира не стало. Огромные вербы, укрывавшие его, выкорчевали и выжгли, пойму засеяли. Стараниями хозяйственных рационалистов исчез и сам Луганчик. Его очистили, избавив и от родников. Новосветловка стала обычным посёлком районного значения. Он жил повседневными заботами, совсем

позабыв о том, что рай был когда-то рядом. В кровавом две тысячи четырнадцатом Новосветловку захватило в заложники украинское воинство. При одном из обстрелов погибла тётушка Галя, последняя из сестёр. Взрывной волной её ударило о стену дома.

Она покоится рядом с бабушкой, своей сестрой Марией, братьями Андреем и Николаем. Не знаю, кто сейчас ухаживает за их могилками, но верю, что их души там, куда однажды завёл меня несчастливый день. Недалеко от своих могил—в золотистом сиянии бабушкиного рая.

Он не был беспомощной фантазией измученного жизнью человека, слепой верой в воздаяние за страдания. Скорее—бунтом против несовершенства этого мира, где человеку не позволено состояться, сознанием высшей справедливости, которой нет, но которая всё же обязана быть. Человеку, чтобы стать собой, нужно не воздаяние,

а справедливость. Приученная с детства только к работе в поле, бабушка внутренним зрением видела гораздо больше, чем глазами. Бабушкин рай—это всего лишь подлинная жизнь, которой никто из нас пока не видел. Разве что в детстве. В том, что кажется ещё милее за дымкой лет.

В наивном веровании ей открылась парадоксальная разумность бытия, которым движет не идиллия, воспетая романтическим поэтом или наёмным идеологом, а естественная поэзия, в которой человек всегда больше своего существования и способен возноситься к бездонному сиянию мира. В этом суть жизни, её природа и смысл. И бабушкин рай был вопросом, обращённым к ней. Вопросом, на который нет ответа. Ведь жизнь не исчерпывается нашей личной судьбой, не исчерпывается всей нашей общей судьбой, она—часть целого, бесконечного и светлого. Куда не берут только «падлюк».